## Ф.А. Лукьянов

Большое спасибо за приглашение, за возможность высказаться после профессора Бека и профессора Паина, потому что, конечно, я еще в меньшей степени специалист по социологии и философии. Точнее, никакой. Я занимаюсь практической международной политикой, и, тем не менее, то, что сказал профессор Бек, крайне важно именно с этой прикладной точки зрения. Потому что проблема современной политической дискуссии заключается в том, что, по-моему, теория отдельна совсем, а практика — где-то рядом или даже не рядом: в общем, они совершенно не пересекаются.

Все споры в рамках школ, к которым мы привыкли, как верно заметил профессор Бек, очень интересны, но почему-то они все время «промазывают» мимо реальных. Они не впитывают в себя то, что реально происходит. В результате — в России это особенно трагично, но отчасти наблюдается и в других странах — научное и теоретическое осмысление подменяется бредовыми теориями заговоров. Просто никто ничего не понимает. С другой стороны, даже когда обсуждается идея якобы в научном поле, появляются какие-то искусственные придумки в попытках воссоздать привычную картину и втиснуть в нее современную реальность.

Когда профессор Бек был здесь в прошлый раз — чуть больше десяти лет назад, была модная теория. Роберт Кейган написал бестселлер о том, что Европа — это Венера, а Америка — это Марс, и они расходятся совершенно в разные стороны и вообще ничего общего у них скоро не будет. Это появилось в период наибольшей агрессивности американской внешней политики.

Прошло 5–6 лет, и выяснилось, что все как-то не так идет, как думали. И тот же Боб Кейган выдвинул другую идею: нет, Европа и Америка — это либеральный капитализм, а есть еще авторитарный капитализм, который олицетворяют Китай и Россия. И вот теперь на этой основе воссоздается биполярное противостояние, и мы все должны сплотиться против них. Это

все очень смешно, потому что означает попытки применить знакомые схемы к совершенно другой реальности.

То, что предлагает профессор Бек, — очень важный методологический шаг. «Космополитическая реал-политик» — это то, чего нам не хватает, хотя, честно скажу, я пока не понял все-таки главного.

Правда, у меня возникает вопрос, а кто является актором, субъектом этой космополитической реальной политики, если, с одной стороны, остается национальное государство, но оно становится каким-то другим и утрачивает возможности, которые были, а интересы его сохраняются, но становятся общими интересами. Это, мне кажется, надо разрабатывать дальше, потому что пока не очень понятно.

Может быть, дело в том, что просто больше нет никакой физической возможности сохранить границу, которая отделяет государство от внешнего мира, и, соответственно, грань между внутренней и внешней политикой стирается везде. За исключением, наверное, Северной Кореи нет ни одного государства, которое могло бы обособиться от всего происходящего вокруг. Более того, резонанс, который возникает между внутренними и внешними процессами, способствует усилению и тех, и других.

И Россия, мне кажется, как страна, чисто географически занимающая огромную часть мира, на себе уже чувствует невозможность разорвать связь между внешними турбулентными процессами и внутренними.

И это тоже должно быть предметом и теоретического осмысления, и прикладной политики. Главный вопрос для всех руководителей государств: как вести себя в этой ситуации? Никто этого не понимает вне зависимости от формы правления — будь то демократия, авторитаризм или промежуточные состояния.

Коротко обращу внимание на три момента, которые упомянул профессор Бек и которые, на мой взгляд, важны для обсуждения.

Во-первых, о том, сколько демократии мы можем себе позволить в мире глобального риска. Эта проблема стоит очень остро, в том числе и для

России. Мы только еще начали возвращаться к признанию того, что нужны какие-то демократические процедуры. И что происходит вокруг? Страны, которые всегда служили моделью или эталонами, мечутся и не знают, что с этой демократией делать.

В Европейском союзе самое страшное, что сейчас может быть, — это референдум. Референдум, когда приходится что-то спрашивать у людей, у граждан. Это катастрофа. Потому что сразу начинается — они не понимают, они не могут верно оценить, они голосуют не теми местами — не умом, а сердцем, не сердцем, а чем-то еще...

И действительно мы видим, что когда на референдум выносятся сложнейшие юридические вопросы, как, например, было с Конституционными договором ЕС, люди голосуют о чем-то своем. И результат, в общем-то, не связан с текстом — вряд ли кто осилит 600 страниц юридического текста, — а последствия сказываются: они меняют направление стратегического развития.

Или недавний пример. В конце прошлого года греческий премьер только заикнулся о том, что надо бы вынести на референдум меморандум с Евросоюзом и МВФ об условиях кредитования Афин. Все схватились за голову: «Да он что, с ума сошел? Какой референдум?» Пришлось уйти в отставку. Даже выборы, которые необходимы для легитимации власти, каждый раз — это беда, это проблема. Опять же в Греции мы только что это видели.

При этом, конечно, ситуация окарикатуривается. Когда большая страна, такая как Франция или Германия, голосует на выборах или референдуме, с этим, конечно, никто ничего не может сделать. Если же неправильно с точки зрения остальной Европы голосуют малые страны – ирландцы, датчане, те же самые греки, — им мягко, но очень настойчиво предлагают проголосовать еще раз — дескать, вы не поняли. Пока, как мы видим, как правило, что они второй раз «понимают», но к классической демократии это имеет небольшое отношение.

И это один из вопросов, который принципиально важен: в какой степени демократия не является разрушительной в ситуации, когда нужно принимать решения, которые никогда в жизни массой такого волеизъявления не принимаются.

Второе, на что я хотел бы обратить внимание, — это проблема Германии в современной Европе.

Вся европейская политика второй половины XX века базировалась на одном: как сделать так, чтобы немцы никогда больше не воевали, никогда больше не имели амбиций и никогда больше вообще не создавали ни для кого проблем. И эта политика, в которой участвовали все великие державы и все европейские страны, увенчалась великолепным успехом — Германия переродилась. Она совсем не такая, какой она была раньше, к которой привыкли и которая была до середины XX века.

Когда это случилось, вдруг немцам говорят: а теперь вы должны воевать. В Югославии, в Афганистане, потому что это солидарность с союзниками по НАТО. Когда немцы не хотят воевать в Ливии – это скандал. То есть то, от чего немцев отучали 60 лет, теперь от них требуют.

Кроме того, ситуация в Европе такова, что на Германию ложится огромная ответственность – целиком вся ответственность за судьбу евро лежит на Германии, на канцлере Меркель, на правительстве и политическом классе. Получается ловушка, потому что, с одной стороны, все смотрят на Берлин и ждут действий – Германия должна что-то сделать, должна принять решение, спасти Грецию и всех. Как только Германия делает какой-то небольшой шаг в сторону того, как она считает нужным (спасать Грецию, евро и т. д.), все говорят: «Так нельзя. Немцы нам навязывают свою политику, свою модель». При этом всплывают, казалось бы, совершенно забытые преодоленные исторические стереотипы. Все помнят, какие карикатуры публиковали в греческих газетах, когда начался финансовый кризис. Сразу вспомнили и оккупацию, и нацизм... То же самое было в

Польше, когда были конфликты с правительством Качиньских и т. д. Все равно все говорят: «Но вы должны. Потому, что если не вы, то кто?»

Германия попала в концептуальную ловушку, из которой непонятно как выходить. От того, как будет выходить она, зависит, и как будет выходить Европа. В этом смысле то, что предлагает или описывает профессор Бек в категориях космополитического реализма, — наверное, правильный путь. Правильный путь именно для Германии — страны, которая не хочет этой ответственности, но от этой ответственности никуда не денется. Только стоит опять вопрос: как это применять и что это означает на практике?

И третье, что можно было обсудить в этом контексте в мире побеждающего космополитизма: что происходит с национальной идентичностью, с национальной историей, которая традиционно служила основой этой идентичности, ее источником?

Мы опять наблюдаем два процесса, которые противоречат друг другу, но происходят параллельно: с одной стороны, стирание границ, с другой — желание в этих стирающихся границах уцепиться за что-то свое и это никому не отдать. Национальные традиции, национальные истории — они на новом витке выходят на новый уровень.

Это противоречие между необходимостью быть все более космополитичными и глобальными и невозможностью отказаться от корней, будет все больше определять мировую ситуацию и тем самым вносить дополнительную дестабилизацию в такую и без того неспокойную среду.